



СКИТАЛЕЦ (Степан Гаврилович ПЕТРОВ) родился 9 ноября (28 октября) 1869 года в Самарской губернии русский писатель, поэт и прозаик. Тесно связан с нашим краем. С 1913-го по 1921 год жил в Симбирске на Старом Венце (ул. Пролетарская, 21). Позже переехал жить в Китай, оттуда вернулся на Родину, обосновавшись в Москве. В 1935 году побывал в Ульяновске, навещая брата. С именем Скитальца связана история создания песни «Из-за острова на стрежень». Изучающим творческое наследие писателя известен прежде всего роман «Дом Черновых». Умер 25 июня 1941 года в Москве. Проза Степана Скитальца заслуживает читательского внимания. Публикуем его рассказ «Ранняя обедня».

РАННЯЯ ОБЕДНЯ

рассказ

Темно. Зимняя ночь заволокла город бестрепетным молчанием. Нигде ни огонька, ни звука шагов, ни скрипа санных полозьев по снегу.

Ночные караульщики спят на лавках у ворот, закутанные в свои огромные тулупы. Только на тёмном небе трепещут синеватые звёзды и холодно смотрят на спящий мир, окутанный беспросветною, молчаливою мглой.

За ночь тротуары замело снегом, и на этом снеге ещё нет нигде следа человеческого. Тихо. Город словно вымер. Отовсюду чутко смотрят тьма и молчание.

И вдруг воздух дрогнул от густого медного звука. Это был грустный, надрывающий сердце удар. Медленно колыхаясь, упал он в мёртвую тишину, и тишина поглотила его, и уныло растаял в ней этот глубокий и печальный вздох соборного колокола.

И опять стало тихо. И чутко дышит молчание ночи, и тревожно смотрит отовсюду тьма. Казалось, что внезапный зов колокола бесследно пропал в пустыне молчания, что он не разбудил сонной тьмы.

Но когда замер его одинокий голос, откуда-то издалека доплыл ответ другого колокола. И, перепутываясь вдалеке, стали рождаться разноголосые медные крики. Они говорили о чём-то друг другу и, печально вздыхая, падали в бездну тишины, и тишина поглощала их.

В старинном соборе чуть-чуть светился огонёк. Чёрные низкие своды таинственно терялись в темноте. Огромные тени, колыхаясь, блуждали по собору.

Свечи и лампы, как звёздочки, теплились в правом низком приделе; в левом и переднем алтаре, под куполом было совсем темно.

Позвякивая большими ключами, прошёл церковный сторож, седой, как лунь, с окладистой бородой и кудрявыми волосами в кружало. Его шаркающие шаги и металлическое звяканье ключей отчётливо повторяются эхом в тёмных алтарях, и кажется, что там кто-то ходит другой, огромный, мягкий и кроткий. Гигантская тень старика ложится через весь собор, перегибается на ступенях амвона, ползёт по белым косякам узких окон с узорчатыми железными решётками.

Гулко хлопнула тяжёлая дверь, и вместе с белыми клубами холодного воздуха в церковь вошёл высокий дьякон в енотовой шубе с огромным поднятым воротником. Он отогнул воротник, разгладил окладистую бороду, потрянул длинными волосами, уцелевшими только на затылке, и осторожно крикнул, прочищая горло.

Звук его густого баса встревожил всю тишину собора, и она беспокойно всколыхнулась, подхватила металлический голос дьякона и долго играла им под тёмными сводами.

Дьякон тяжёлыми шагами прошёл через всю церковь в алтарь. Его картинная фигура с длинной бородой, ниспадавшей на грудь, и кудрями на затылке вырезалась на светлом фоне золотых икон резко очерченным силуэтом. За ним по каменным плитам двигалась огромная неопределённая тень.

Тяжёлая дверь опять отворилась, родила гулкие звуки, опять кто-то вошёл и кашлянул. Силуэты людей всё чаще и чаще обрисовывались в полутьме, и от каждого человека падала длинная тень. Шумно пробежали мальчуганы-певчие с красными от мороза щеками, слышались теноровые и басовые покашливания взрослых певчих.

Стали входить фигуры в дублёных полушубках, в промёрзлых лаптях.

Всюду кроткими звёздами вспыхивали огни свеч. Наконец, из алтаря задрезжал старческий голос священника, и дьячок громко стал читать часы горловым козлиным голосом.

Это был мастер быстрого чтения. Слова у него сыпались так стремительно, что в них нельзя было уловить никакого смысла. Громко барабанил языком, он сладостно замирал, переводя дыхание, и, быть может, находил своеобразное удовольствие в своём искусстве.

— На руках возьмут тя, да не когда преткнешли... на аспиде и василиска... и попереши льва и змия... Живый в помощи Вышняго, в крове Бога небеснаго...

Отдельные фразы мелькали и тонули в быстром потоке его чтения; «Господи, помилуй» сыпалось частую дробью и сливалось в какое-то бессмысленное «помилос».

А сквозь шум его чтения, хлопанье двери и шаги входящих в храм из алтаря струилось низкое рокотание густого дьяконова баса.

Из темноты левого придела выходили певчие: они давно уже дремали во мгле клироса в ожидании начала обедни. Хор становился не на клиросе освещённого придела, где было тесно, низко и глухо, а под самой аркой. Высокие силуэты басов загородили её полукругом, а мальчишки стояли посреди церкви под паникадиллом высокого купола двумя кучками, одна против другой. В центре хора виднелся неопределённый силуэт регента.

Из придела крикнул дьякон и возгласил густым речитативом:

— Бла-гос-ло-ви, вла-ды-ко-о-о!

Старческий голос священника чуть слышно доносился из алтаря, и регент скорее чутьём, чем ухом, угадал окончание возгласа. Он взмахнул руками, и хор густым аккордом загудел обычное «аминь».

Пели довольно лениво. Нераспетые, отяжелевшие от сна голоса немного понижали тон, у теноров иногда выскакивали «галушки», басам трудно было стихать. Только октаве было хорошо: после сна или, может быть, перепоя она свободно пускала самые низкие звуки, и они густой волной расстилались по каменному полу.

«Октава» исходила из огромного силуэта старика в плохом сюртуке, с длинными седыми волосами и благообразной бородой.

Вскоре этот силуэт, длинный и наклонённый вперёд, огромными шагами передвинулся в придел с большой книгой в руках.

Хору не видно было богослужения в приделе, и регент, прислушиваясь, руководился только звуками.

А позади хора уже стояла тёмная толпа народа. Это были всё овчинные тулупы, полушубки, поддёвки, мужицкие бородатые лица. К этой ранней службе ходит только молчаливый и бедный люд со своей крепкой верой в Бога, с тёмными зачатками мысли, задолго до рассвета приходящий сюда получить своеобразное душевное удовлетворение.

— Бр-ра-тие!.. — доносился из придела тяжёлый бас огромного силуэта.

Видно было, как высокий старичище стоял в толпе, выше её на голову, и ревел, растопырив перед собой тяжёлую книгу:

— Не приоб-щай-те-ся к делам неплодным тьмы-ы...

Чтение апостола даёт певчим время для отдыха, выхода из церкви, чтобы покурить, и для разговоров. Они сгруппировались и, пользуясь рёвом чтеца, свободно разговаривают.

Подошёл к ним и регент — плотная фигура с брюшком.

— Воз-ста-ни, спяй, и воскрес-ни от ме-е-рт-вых! — грохотал здоровенный басыще.

— Куда бы мне спровадить эту окаянную силу? — кивнул регент в сторону оглушительного рёва.

— А что, надоед? — прогудел кто-то басом.

— Мочи моей нет! Только портит. Помните, в прошлый раз второпях схватил ноты вверх ногами и зазевал один верхнее «ре», а написано-то, конечно, нижнее, пианиссимо...

— Куда его денешь? — безнадежно сказал кто-то. — Деваться ему некуда! В унижении человек, ну и — ослаб!

– А кто виноват? Не пьянствуй!

– Сего ра-ди не бывайте нес-мы-ыс-лен-ни! – су-рово гремел над толпой старичище. – Но разумеваю-ще, что есть воля Б-бо-жи-я!

– Ведь он до чего доходил? В рясе, днём, фонар-ные столбы выворачивал при всём народе! «Не я, – го-ворит, – Христа забыл, а Христос меня!..»

– Да оно, духовенство-то, всегда много пьёт, осо-бливо дьякона! Редкий не сопьётся и в конце концов в певчие не попадёт, потому что жизнь такая: обеды, крестины, молебны! Как тут не погибнуть слабодуш-ному человеку? А купечество? И опять же – скука!

– От пьянства все гибнут! – солидно сказал ре-гент. – Вот Урбанов тоже! Две недели глаз не кажет, пьяная морда! Ну не подлец ли? В ногах валялся, клял-ся, что не будет пить; одели его купцы, а он опять!..

Регент с грустью и злобой покачал головой и ска-зал с неожиданной решимостью:

– В шею!..

– Жалко! – возразили ему. – Хороший солист!

– Ещё бы! – согласился регент. – Талант, чудный тенор, сколько души, сколько вкуса, чувства, н-но – пьяница! Ничего не поделаешь! Придётся расстать-ся. Ведь другой бы с его голосом и способностями карьеру себе сделал, а этот лентяй в пьянстве изжил всю свою жизнь! Я ему, подлецу, и дверей теперь не открою, коли опять придёт каяться! Устал я от этой канители! И что это за удивительная вещь? Как хоро-ший певчий, так из рук вон пьяница!

– Да он, пожалуй, как бы сейчас к ранней не при-шёл... Вытрезвляется, говорят.

– Ну, если придёт, споём «Покаяние»: я его про-ро-ма-нежу!

– Сорвётся, пожалуй, он там с верхнего-то «ля»? Ведь после запоя!..

– А мне какое дело? Умеешь пить, так умей и петь! А не то – с Богом, в босяки!

– Пропое! – возразил кто-то. – После запоя он удивительно хорошо поёт! Я помню, он так-то раз «Яко согрешихом» спел: диву все дались! Поёт, а у са-мого слёзы по морде так и теку-ут!..

Бывший дьякон добрался до самых верхних нот и неистово орал, выходя из себя:

– Не упива-айте-ся вино-о-м! В нём же есть блу-у-д!

Ему трудно было остановить массу своего голоса на неудобном звуке «д», и его бас, упираясь в низкие своды, неуклюже рухнул как глыба.

– Мир ти! – укоризненно сказал ему священник.

Старичище что-то недовольно проворчал ему в ответ октавой и возвратился в хор. Хор запел...

Для «Херувимской» один из мальчиков раздал всем партиям ноты. Под тёмной аркой певчие зажгли свечи, чтобы светить на бумагу. Нотные листки освещались трепетным мерцанием восковых свечек. Бледный свет случайно падал на сдвинутые плечи, лица, бороды певчих. За пределами этого слабого света всё тонуло во мраке.

А там, во мраке, шевелилась и вздыхала таин-ственная толпа в полушубках, лаптях и валеных сапо-гах. Неясная и неопределённая от темноты, она каза-лась громадной и стихийной и загадочной со своею глубокою и земною жизнью духа, полною нетрону-той веры...

Волнами, тихо, широко и стройно разливалась

херувимская песнь.

Хора почти не видно было в темноте, и казалось, что благоговейно-тихое пение доносится из купола, откуда спускается к людям рой светлых ангелов. Они веют своими серебряными крыльями и несут в этот бедный мир, молящийся во мраке, что-то прекрасное, чистое и светлое...

Народ тихо шевелился и осторожно вздыхал, и казалось, что вот сейчас таинственная мгла, одева-ющая эту мрачную церковь, разорвётся как завеса, и все увидят иной мир, светлый, радостный, полный разноцветных лучей, залитый волнами серебристого света, прекрасный как это стройное пение...

Но в церкви всё так же мрачно и темно, и волны ангельского пения, приближаясь, опять уходят в купол и медленно замирают, словно доносятся издали; и вот уже ушли, и всё стихло, словно в воздухе невидимо проплыла небесная процессия, странное и неж-ное видение, которому нет места во мраке печальной и несчастной земли.

Грубо звучит металлический голос дьякона. Грустно дребезжит старческий голос священника. И вдруг неожиданно и мощно грянули басы:

– Я-ко да ца-ря!..

И вслед за ними, порхая и крутясь, понеслись детские и теноровые голоса. Они радостно мчались в купол, перепутываясь и догоняя друг друга, как в май-ский день золотые мотыльки на солнце.

А басы порывисто и быстро, всё выше и выше, всё мощнее и грознее повторяли:

– Подыдем! Подыдем! Подыдем!

Мрак становился бледнее. В узкие окна купола пробивался рассвет; и яснее можно было различать внутренность храма, толпу народа и фигуры певчих. И по мере того как становилось светлее, всё кругом утрачивало свой мрачный и таинственный колорит.

Обедня близилась к концу. Хор тихо и молитвен-но пел «Отче наш». В чёрной толпе мелькали белые руки: все осеняли себя крестным знамением.

В это время в полукруге хора появилась робкая фигура человека, одетого очень плохо; это был тщедушный, до времени изжитой человек с козлиной бо-родёнкой и редкими, спутанными кудрями до плеч... Видно было, что лицо его было когда-то красивым, и кудри – густыми и холёными... На нём была изодран-ная кацавейка, подпоясанная красным платком, за-платанные брюки и промёрзлые ботинки без калош. Он стыдливо и застенчиво горбился и прятал в рукава красные от холода руки.

В хоре произошло движение, и пронёсся шёпот: «Урбанов»...

Регент презрительно покосился на него, а он сто-ял в полукруге, на виду у всех, презираемый всеми и, быть может, сам презирая себя, с прижатými к груди руками, в жалкой позе ничтожества...

Из хора выступили в полукруг солисты: высокий бас с белокурой бородой и низенький хохлатый те-нор с рябым лицом.

Регент сделал едва заметное движение рукой: Урбанов подвинулся вперёд. И они все трое стояли в полукруге в нескольких шагах друг от друга: Урбанов в середине, под аркой, лицом к алтарю и регенту, ко-торый стоял перед ними с поднятой рукой.

– «Покаяние», – чуть слышно сказал он и задал тон.

Певцы замерли на своих местах. Регент плавно шевельнул рукой, и они запели.

Бас гудел стройно как орган, рябой вторил тенором, а высоким «первым» тенором запел оборванец.

У него был нежный и мягкий, свободный голос. Странно было слышать благородные и трогательные звуки из впалой груди измытаренного пропойцы. Эти грудные звуки струились светлым и чистым потоком и незаметно переходили в нежную фистулу, тихо-тихо замирали, и когда казалось, что они уже замерли, они начинали опять расти, расширяться, опять обращались в грудные, цельные и полные звуки и опять замирали. Незаметно было, когда он переводит дыхание, и голос его казался бесконечным и безграничным, каким-то морем звуков.

Они пели трио «Покаяния отверзи ми двери».

Урбанов, жалкий, всклокоченный, с умоляющим видом стоял перед суровым регентом и пел о покаянии. А регент пронизывал его испытующим оком и неумолимо помахивал рукой. В хоре промелькнули улыбки.

– От-ве-е-рзи!.. – повторил опять Урбанов, но уже с большей страстностью, в очень высокую, звонкую ноту, под густой аккомпанемент баса и рябого тенора, и уже вспыхнуло в этом звуке что-то проникновенное, что сразу передалось всем и прекратило улыбки.

А молчаливая толпа народа как бы замерла, перестала шевелиться, кашлять и вздыхать, и неизвестно было, слушает ли она певцов или совсем не замечает их.

Урбанов пел и медленно выпрямился, устремив глаза свои в купол. Он сразу как бы отодвинул на второй план остальных певцов и к одному себе привлёк всеобщее внимание.

– Храм носяй те-лес-ный! – нежно трепетал его голос.

– Храм! - струнным аккордом торжественно гудел бас.

– Весь... весь... весь осквернен! – рыдал голос Урбанова, а сам он всё крепче прижимал к своей впалой груди красные, иззябшие руки.

– Осквернен! - глубоко и печально вздыхал бас.

И в толпе народа также послышались вздохи. Их так было много, что они сливались в какой-то невнятный шелест или дальний шум реки... Казалось, что ветер пробегал по вершинам тёмного леса, и лес невнятно шумел, или где-то далеко волна тихо приходила к берегу и умирала на нём.

– И в лености... и в лености... – словно огненным бичом ударял Урбанов и вдруг высоко зазвенел с такою силой, огнём, слезами и могучим чувством от-

чаяния, что весь собор, казалось, притаил дыхание и слушал, и строгие лики святых посмотрели на певца менее строго.

– Всё житие мо-е... изжих... – это был ужас горького сознания, что жизнь изжита безвозвратно и непоправимо, что талант погублен во тьме и грязи и что уже не подняться ему оттуда...

От этого звука, который вырвался из самой глубины души певца, у всех отозвался в груди какой-то ответный аккорд. Рыдающее чувство отчаяния дошло до каждого человека и коснулось нежных, тайных струн его сердца... Словно искрами осыпал он толпу и долго и нежно затихал, словно проливая тихие, неслышные слёзы.

И вдруг бас неожиданно грянул как гром:

– О-ка-я-ный!

В толпе прошла волна вздохов.

– Тр-ре-пе-щу!.. – могучим ударом разразился полный и светлый голос, словно это было проклятие неба...

И когда весь хор, как бы придавленный этим ударом, прошептал тихо и страшно, словно низвергнутый в преисподнюю, с октавой, едва доходящей из бездны, и казалось, что сюда уже доносятся чуть слышные голоса ада:

– Страшного... суднаго... дне... – в этот момент передняя половина толпы как один человек опустилась на колени, сама не замечая этого, и в шелесте вздохов тонкими струйками мелькали всхлипывания.

А Урбанов, преобразившийся, с глазами, устремлёнными в самый верх купола, всё ещё стоял с прижатыми к груди руками, и голос его всё ещё замирал нежным, плачущим звуком.

После мрачного падения в грязь порока, со дна трущобы он явился в храм и теперь вновь ощущал в своей груди жгучее чувство вдохновения, душа его вновь возстала из тёмной бездны и на момент осветилась чудным светом красоты и таланта.

Между певцом и толпой вдруг почувствовалась какая-то связь, словно в воздухе внезапно протянулись тонкие серебристые нити.

Первые лучи восходящего солнца ударили в разноцветные стёкла узких окон... Словно золотые струны, задрожали они в голубом воздухе собора и одели в золото и пурпур жалкие лохмотья певца и ярко осветили его бледное лицо, орошённое слезами. Солнце как будто охорашивало его, оставляя в тени картинный полукруг хора и безмольную, коленопреклонённую толпу народа. Казалось, что она, эта толпа, всё ещё слушает звуки, которые давно уже умерли под чёрными сводами старого собора.

